

ПРИЛОЖЕНИЕ

П. МАЛЯНТОВИЧ,

министр юстиции Временного правительства

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ 25—26 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА

Уже две ночи провел Керенский в Главном штабе и должен был провести и третью — с 24 на 25 октября.

Во главе военной борьбы против предполагавшегося военного выступления большевиков и защиты от них правительства и Петрограда должен был быть поставлен непременно член Временного правительства, — в политическом отношении. Предстояла борьба с «внутренним врагом». В каждый данный момент ночи и дня могли возникать вопросы политические, могла явиться необходимость разрешить вопрос о допустимости или недопустимости, с политической точки зрения, осуществления той или иной вполне, скажем, достижимой военной задачи, которая, однако, могла быть бесцельной или даже вредной в политическом отношении.

Предоставлять разрешение политических вопросов военному командованию нельзя по двум причинам. Во-первых, потому, что эти вопросы, и в особенности в тот момент, не только были исключительным правом, но и неустранимой обязанностью только Временного правительства. Расходясь на ночь, члены Временного правительства могли вручить свои полномочия только члену Временного правительства. Во-вторых, военное командование должно вести исключительно военными задачами и не растрачивать ни своей энергии, ни своей решимости на решение вопросов политических, что неизбежно всегда должно вызывать замедления и колебания, которые могут сыграть роковую роль.

Обязанности военного министра в тот момент исполнял генерал-лейтенант Маниковский, принявший назначение, ввиду увольнения в отпуск военного министра генерал-майора Верховского, всего за три-четыре дня до этого, причем он поставил условием, что он будет исполнять исключительно военно-технические обязанности и в политическом отношении будет лишь исполнять прямые предписания и указания Временного правительства. Он отказался принять на себя военно-политическое руководство в обороне против предполагавшегося выступления большевиков.

Естественнее всего было возложить эти обязанности на министра-председателя, который был в то время и верховным главнокомандующим, — на Керенского. Ему было поручено Временным правительством организовать при Главном штабе надлежащее военное командование, не стесняясь, если бы это понадобилось по условиям момента, произвести необходимые личные перемены. Были высказаны мнения относительно отдельных лиц в Главном штабе.

24-го Керенский доложил, что всё в штабе и гарнизоне налажено и что он не нашел нужным произвести какие-либо перемены лиц. Главные и руководящие обязанности в военном отношении были возложены на полковника Полковникова и генерала Баградуни...

24-го октября мы разошлись рано... во втором часу ночи. Все члены Временного правительства, кроме Керенского, — по квартирам, Керенский ушел в Главный штаб...

Вернувшись к себе, я еще провел часа полтора в кабинете, подготавливая план занятий на следующий день... Распорядился разбудить себя в половине десятого...

Я был разбужен в девять утра.

Приотворив дверь, курьер министерства юстиции Михаил Александрович Тюрин негромким, учтивым, но и вятым и настоящим голосом старался меня разбудить. Я спал крепко, заснувши только в седьмом часу утра.

— Господин министр, вставайте. Еще только девять часов, но министр-председатель просили по телефону, чтобы вы были в Генеральном штабе непременно к десяти часам... Самовар готов, чай заварен.

М. А. Тюрин — фигура интересная, заслуживающая особого очерка. Он служил курьером при министерстве юстиции, начиная с министерства Муравьева, и при всех министрах состоял личным камердинером при министре. То же и при министрах во время революции... С его помощью я справлял всё свое одинокое несложное хозяйство... Высокий, сухощавый, в одних усах, тугой на одно ухо, исполнительный, заботливый, умный и тактичный. По виду ему можно было дать и сорок пять, и шестьдесят лет... Прошел хорошую школу...

Напрасно я предлагал ему называть меня в домашнем обиходе по имени и отчеству...

— Скажите подать автомобиль, — сказал я, быстро поднимаясь с постели.

— Сказал, господин министр, чтобы не позже половины десятого был подан. Только мне ответили, что нет автомобилей. Этакое безобразие. Я всё-таки сказал, чтобы вам автомобиль был подан непременно. Но, на всякий случай, велел лошадь подать. Будет подана.

За последнюю неделю с автомобилями были нелады, как, впрочем, и во всем... Всё как-то скрипело и разваливалось... Подавали не во-время, и почти всегда разные, нередко неисправные. Автомобиль, прикомандированный к министерству юстиции в мое личное распоряжение, без достаточного повода и подозрительно долго чинился. Экзекутор жаловался, что ничего не может сделать...

В десять без четверти был подан автомобиль.

Я прошел в кабинет, чтобы захватить по привычке тетрадку своего дневника, с которой я не расставался с утра до ночи, вписывая в нее все встречи и вкратце все разговоры.

Вынул ее из ящика письменного стола, и вдруг мысль, неожиданная и настойчивая: «А не последний ли наш день сегодня?».

Она сразу вылилась в окончательное решение. Я вынул из того же ящика другую тетрадку дневника — уже исписанную, пачку писем, частных и по должности, но адресованных мне лично, мои заметки, сложил всё это в один пакет, огляделся в кабинете и засунул пакет в большую кучу старых газет, лежавшую на выступе книжного шкафа сзади письменного стола...

Оттуда после нашего ареста мой секретарь и добрый товарищ Д. Д. Данчиц, по моей просьбе, вынул этот пакет и отнес одному моему другу...

Хотя я и был уверен, что Тюрин ошибся, что меня вызывали не в Генеральный, а в Главный штаб, но всё-таки заехал сначала в Генеральный — благо это рядом. Там не оказалось никого.

Я проехал к Главному штабу. Он расположен, как известно, справа от Зимнего дворца, если стоять к последнему лицом.

Подъехал, вышел из автомобиля, подошел к подъезду и... всё понял.

У подъезда не было никакой охраны. Каждую минуту в подъезд входили и выходили из него поодиночке и группами военные лица всех чинов и родов оружия. Дверь его казалась настежь открытой, и только колебаниями своими выдавала, что она не открыта, а постоянно открывается, не успевая закрыться.

Я вошел, никто меня не знал, но никто не спросил меня при входе.

По лестнице в два марша непрерывно подымались и спускались солдаты, офицеры всех чинов, реже юнкера. Лица хлопотливые и сосредоточенно-встревоженные.

Всё ли это «свои»? Сколько здесь большевиков? Их может быть сколько угодно. Входи и... бери.

Они потом так и сделали: вошли и сели, а те, кто там сидел, встали и ушли — штаб был занят...

Поднялся во второй этаж. На площадке у средней двери — юнкер с ружьем, на которое, держа его за штык правой рукой, опирается как на палку... Он мог быть и без ружья, а хорошая палка была бы удобнее. Спрашиваю:

— Не знаете ли, где здесь министр-председатель?

Отвечает любезно:

— Извините, не знаю. А вот пройдите к дежурному офицеру, сюда — налево, он вам скажет.

Вхожу. Большая, плохо освещенная комната. Прямо против входной двери окно, по стенам с двух сторон — двери. Посередине большой стол, на нем бумаги в полном беспорядке. За столом никого. Через комнату проходят постоянно военные люди в пальто и без пальто, в шапках и без шапок, — через входную дверь и через двери из внутренних помещений, — приходят, проходят, уходят — с бумагами и без бумаг.

Меня не знают. Я здесь чужой. Но не обращают никакого внимания. Вскинет глазом иной и спешно идет дальше...

Я могу взять с этого стола бумаги, сложить их, не спеша, и унести, положить в любое место бомбу; на стене наклеить призыв к свержению правительства...

Проходит какой-то генерал, читая на ходу бумагу. Останавливаю вопросом, не знает ли он, в каком помещении в штабе находится министр-председатель. Остановился, поднял голову, взглянул поверх очков взглядом человека, которого только что разбудили, но он еще не пришел в сознание, и резко буркнул:

— Не знаю-с! Спросите дежурного офицера, — и пошел.

Потом вдруг остановился, обернулся, опять взглянул поверх очков, но взглядом человека, которого осенила неожиданная, но властная мысль, и сказал раздраженно:

— А шапку, знаете ли, не мешало бы снять!..

Это было резонно. Я снял шляпу и вышел опять на площадку, решив пройти прямо в кабинет начальника штаба. Спросил юнкера — где. Указал.

Подождал к двери кабинета. Доложить, конечно, некому.

По коридору снуют люди непрерывной чередой, вперед и назад, но у двери начальника штаба нет никакого караула, даже нет никого, кто бы мог доложить...

Можно войти в кабинет беспрепятственно группой и, войдя бесшумно, сказать спокойно: «Вы начальник Главного штаба?.. Объявляю вам, что вы арестованы...»

Я нажал ручки двери и вошел в кабинет без доклада.

Прямо против двери, лицом к ней, спиной к окнам стояли Керенский, Коновалов, Кишкин, генерал Багратуни, адъютанты Керенского и другие, мне незнакомые.

Один высокий, бритый, с лицом иностранца что-то говорил Керенскому.

Керенский был в широком сером драповом пальто английского покроя и в серой шапке, которую он всегда носил — что-то среднее между фуражкой и спортивной шапочкой.

Лицо человека, не спавшего много ночей, бледное, страшно измученное и постаревшее.

Смотрел прямо перед собой, ни на кого не глядя, с прищуренными веками, помутневшими глазами, затаившими страдание и сдержанную тревогу.

Подал мне руку, взглянув рассеянно и мельком.

Я поздоровался с Кишкиным и Коноваловым.

Было очевидно, что я пришел к концу какой-то беседы, хотя было только десять часов, и что Керенский куда-то собирается ехать один и Кишкин и Коновалов были без верхнего платья.

— В чем дело? — обратился я к Коновалову вполголоса.

— Плохо! — ответил он, глядя на меня поверх пенсне.

— Куда он едет?

— Навстречу войскам, которые идут в Петроград на помощь Временному правительству. В Лугу. На автомобиле. Чтобы перехватить их до вступления в Петроград и выяснить положение, прежде чем они попадут сюда — к большевикам.

— Навстречу войскам, идущим сюда на помощь Временному правительству? А в Петрограде значит, нет войск, готовых защищать Временное правительство?

— Ничего не знаю! — Коновалов развел руками. — Плохо, — прибавил он.

— И как же это войска идут?

— Кажется, батальон самокатчиков.

Понистине плохо, если в день несомненной опасности военного

восстания в Петрограде для защиты Временного правительства и государственного порядка надо ехать в Лугу навстречу... батальону самокатчиков.

Кто-то доложил, что автомобили поданы. Оказывается, один из двух автомобилей был предоставлен Керенскому, по его просьбе, одним из союзнических посольств. Повидимому, автомобильная база уже не была в распоряжении правительства.

Керенский наскоро пожал всем руки.

— Итак, вы, Александр Иванович, остаетесь заместителем министра-председателя, — сказал он, обращаясь к Коновалову, и быстрыми шагами вышел из комнаты...

С этого момента мы больше не видели Керенского...

— А мы куда? — спросил я, обращаясь к Кишкину и Коновалову.

Мы немедленно и согласно решили, что должны созвать сию же минуту всех членов Временного правительства и обсудить положение.

Сели в мой автомобиль — он, действительно, оказался очень нужным нам, потому что был у нас единственным, — и проехали в Зимний дворец к Салтыковскому подъезду, который выходит в сад при Зимнем дворце.

Из огромной прихожей через смежную с ней комнату слева лестница, вся клетка которой по стенам была убрана гобеленами, вводит во втором этаже в очень широкую внутреннюю залу-коридор, с верхним тусклым освещением и галереями наверху.

Направо от входа в этот зал и коридор была поставлена временная, очень высокая перегородка, отделявшая от левой части зала лазарет для раненых воинов.

Налево от входа с лестницы, в конце зала, лежал путь в Малахитовый зал, где происходили заседания Временного правительства, через три зала.

Малахитовый зал всеми своими огромными окнами выходит на Неву. Остальные помещения: канцелярия Временного правительства и кабинеты министра-председателя и его заместителя — доходили до угла дворца, выходящего к Николаевскому мосту, и занимали часть стены по саду, против Адмиралтейства.

По телефону стали созывать всех членов Временного правительства.

Все съехались, кроме С. Н. Прокоповича, который, как оказалось, был в это время арестован, долго возился, пока ему удалось освободить себя из-под ареста, и, когда получил свободу передвижения, уже не мог попасть в Зимний дворец.

Собралась канцелярия, кроме правителя дел канцелярии Временного правительства А. Я. Гальперна, который совсем не был в Зимнем дворце 25 октября и не посещал заседаний Временного правительства с 9 по 16 ноября, происходивших после переворота.

Председательствовал А. И. Коновалов.

Заседание было открыто в составе, кроме Коновалова и меня: министра иностранных дел Терещенко, министра внутренних дел Никитина, министра военного Манюковского, министра морского Вердеревского, министра народного просвещения Салазкина, министра труда Гвоздева, министра финансов Бернацкого, министра призрения Кишкина, министра исповеданий Карташева, министра путей сообщения Ливеровского, председателя экономического совета на правах министра и члена Временного правительства Тре-

тьякова, государственного контролера Смирнова, министра земледелия Маслова.

На заседании в первую же очередь было установлено, что вооруженное выступление большевиков осуществляется и приурочивается, как к центру, к Главному штабу и Зимнему дворцу. По Мойке, к площади и с набережной, стягиваются красногвардейцы и разные полковые части. Мосты, разведенные ночью по распоряжению Временного правительства, наведены.

Ввиду отъезда Керенского, надо было уполномочить кого-нибудь из членов Временного правительства для непосредственного политического руководства в Главном штабе обороной Петрограда и подавления организуемого выступления на правах как бы генерал-губернатора Петрограда. Опускаю подробности недлинной беседы. Существенно только отметить следующее.

Никто из членов Временного правительства не заблуждался относительно размеров грозящей опасности. Необходимость и цель отъезда Керенского, и всё, что предшествовало этому дню, и нарастающие события дня делали опасность значительной и вполне реальной.

Степень разложения петроградского гарнизона в общем была известна Временному правительству так же точно, как и флотских частей, хотя руководящий орган Центрофлота стоял, повидимому, на позиции защиты Временного правительства и на той же позиции держались казачьи части, военные училища и, как говорили без достаточной определенности, и некоторые части гарнизона.

Положение было угрожающим, но не казалось еще окончательно определившимся: мог, казалось, создаться перелом в любую сторону в зависимости от хода событий.

Решительные и успешные действия против выступления большевиков, казалось, могли вывести из состояния нерешительности и колебаний казаков и кое-какие части гарнизона, а также Центрофлот, но непременно успешные. Было ясно, что ни инициативы, ни даже ответственного активного выступления эти части на себя не возьмут.

Солдатская масса была всюду в лучшем случае ненадежна.

Офицеры всем ходом описанных выше событий после корниловских дней чувствовали себя оскорбленными и еще более отрезанными от солдат, а Временному правительству (и в решимость его) не верили.

С чувством недоверия и обиды относились к Временному правительству и казаки вследствие калединского дела.

Многие думали — все казаки. Будущее доказало, что только казачье офицерство, рядовые же казаки, как и все солдаты, просто склонны были к большевизму, что в то время еще пока не вполне определилось, но что вполне хорошо понимал, как оказалось впоследствии, только один человек — генерал Каледин.

Таково было положение..

Уполномоченным от Временного правительства по охране Петрограда был назначен Н. М. Кишкин. В его непосредственное распоряжение поступали все вооруженные силы столицы.

Н. М. Кишкин назначил своими помощниками инженеров Пальчинского и Рутенберга.

Указ Временного правительства о назначении Н. М. Кишкина был тотчас же составлен и подписан всеми членами Временного правительства.

Н. М. Кишкин удалился в помещение Главного штаба.

Все остальные члены правительства остались в Зимнем дворце. Было составлено и сдано в печать обращение Временного правительства к населению. Оно разъясняло положение вещей и призывало население к защите государственного порядка и законного всенародного правительства (которое может сдать свои полномочия только Учредительному собранию) против выступления большевиков, имеющего очевидную целью насильственно захватить верховную власть вопреки воле народной и в нарушение суверенных прав Учредительного собрания.

Затем был поставлен вопрос, как должно себя дальше вести Временное правительство: могут ли члены его разойтись по своим ведомствам, или положение таково, что Временное правительство должно продолжать непрерывно свое заседание впредь до разрешения кризиса.

Только двое высказались за то, что все возможные меры приняты и потому члены правительства могут разойтись по своим министерствам.

После непродолжительного обмена мнениями и они присоединились к решению большинства, что положение настолько серьезно, что Временное правительство не выполнит своих обязанностей, если не останется в Зимнем дворце в полном составе и не объявит свое заседание непрерывным до окончательного разрешения кризиса.

Часов до четырех доступ к Зимнему дворцу был еще возможен. Дважды приезжал к нам товарищ министра финансов А. Г. Хрущев. Был еще кто-то. Кажется, В. Д. Набоков.

Спустя полтора или два часа после своего ухода в Главный штаб к нам пришел оттуда Н. М. Кишкин. Его сообщение характеризовало положение как неопределенное.

Более оптимистично было сообщение Пальчинского. Он допускал, что большевики не перейдут в открытое наступление, что всё может ограничиться лишь угрозой с целью нас терроризировать, что стягиваются пока, главным образом, красчогвардейцы, что, в случае необходимости, можно будет без труда разогнать их. Главный штаб наготове, и Зимний дворец охраняется.

Какие же воинские части были в распоряжении Временного правительства — для охраны его и Петрограда?

Точных сведений не было. Это странно, а между тем это так. Мы точно не знали, под чьей защитой новый российский государственный строй.

Моя память сохранила такие сведения: по две роты от двух военных училищ, кажется, Павловского и Владимирского; две роты Ораниенбаумской школы прапорщиков; две роты Михайловского артиллерийского училища с шестью пушками; какая-то часть женского батальона и две сотни казаков.

Кем даны были эти сведения? Не помню, но помню, что точного ответственного доклада представителем военного командования Временному правительству сделано не было.

Ни от кого нельзя было добиться, каково настроение и отношение к событиям дня остальных войск — пехотных, кавалерийских, артиллерии и специальных команд — пулеметной, броневиков.

— Настроение неопределенное, но сочувствие правительству, —

говорили одни.. Кто? Не знаю. Это не был доклад кого-нибудь, кто имел бы в руках проверенные данные, сообщал бы сведения, которыми можно было бы руководствоваться.

И тогда, в тот самый день, не мог бы сказать, кто это сказал. Может быть, кто-нибудь, кто пришел к нам, пока это можно было, посидел и ушел. Может быть, сообщение по телефону. Телефон работал долго. С городом, с разными лицами разговаривали многие: Вердеревский, Кишкин, Никитин и др.

— Скорее несочувствие большевикам, но и к правительству нет сочувствия. Позиция нейтральная. Перейдут в лагерь победителя.

А это кто сказал? Не помню. Может быть, кто-нибудь один, а может быть, сразу многие. И, во всяком случае, и это не было сведением, а скорее мнением, рассуждением...

Из города сообщали, что население взволновано, очень настроено против большевиков... Идут партийные заседания: все партии высказываются против большевиков и против их выступления... Одним словом, большевики постепенно... «изолируются»... Высказываются!

Это было необыкновенно утешительно!..

Будет открыто заседание Городской думы: там выскажутся все партии и все организации, будет выработана общая резолюция... «Общая резолюция»!!! Какое настроение энергии!..

Пришли в действие все говорильни!..

Потом попозже, но в тот же день — запомните: в тот же день — открылись две новые: «Комитет спасения родины и революции» и «Комитет безопасности»... Они тоже будут... «изолировать». Мы увидим — кого.

Открылся съезд Советов...

О, какое мужество, какую страсть, какую решимость проявят там подлинные защитники демократии и революции! Как торжественно, пролив океаны слов, покинут заседание и закончат последовательно проведенный процесс «изоляции» большевиков в тот момент... когда по ордеру Военно-революционного комитета поведут большевики в Петропавловскую крепость всех членов Временного правительства под предводительством «товарища» Антонова.

«Население» Петрограда и его революционные руководители «изолировали» большевиков неосознанной панической тревогой и словами, а большевики без слов — с винтовками, бомбами, пулеметами, броневидами и пушками — охватывали плотным кольцом изолированный орган всенародной власти.

На Зимний дворец сосредоточенно глядели орудия с башен «Авроры» за Николаевским мостом и пушки Петропавловской крепости. В огромные окна дворца лил холодный свет серый бессолнечный день.

В сухом воздухе отчетливо видны городские дали. Из углового окна виден загроможденный простор вдоль широкой могучей реки. Равнодушные, холодные воды... Притаившаяся тревога застыла в сыром воздухе...

В огромной мышеловке бродили, изредка сходясь все вместе или отдельными группами на короткие беседы, обреченные люди, одинокие, всеми оставленные...

Вокруг нас была пустота, внутри нас — пустота, и в ней вырастала бездумная решимость равнодушного безразличия...

— Что грозит дворцу, если «Аврора» откроет огонь?..

— Он будет обращен в кучу развалин, — ответил адмирал Вердеревский, как всегда, спокойно. Только щеку, в углу правого глаза, задержал тик. Передернул плечами, поправил правой рукой воротник, опять заложил руки в карманы брюк и повернулся, чтобы продолжать прогулку. На минутку остановился:

— У нее башни выше мостов. Может уничтожить дворец, не повредив ни одного здания. Зимний дворец расположен для этого удобно. Прицел хороший.

И опять пошел...

Разговоры по телефону велись непрерывно с разными организациями и лицами — то с тем, то с другим. Кажется, с Никитиным больше всех. Наше положение они не выясняли нисколько.

Всё более и более несомненным становилось лишь одно, что ни на какую действительную военную поддержку, кроме той, что у нас есть, мы рассчитывать не можем. И можем ли рассчитывать на ту, что есть?.. Сколько времени мы здесь проведем? Чем всё это кончится? Как мы должны вести себя? Какое распоряжение отдать охраняющим нас частям войска?

Этот момент непременно наступит, — когда надо будет дать короткий решительный командный приказ. Какой?

Защищаться до последнего человека, до последней капли крови? Во имя чего?

Если власть не защищают те, кто ее организовал, нужна ли она? Если же она не нужна, если она изжита, кому и как ее передать и по чьему приказу?..

Те, кто ее организовал и ее не защищает, однако «изолируют» тех, кто ее хочет взять, и не отдают приказа ее передать.

Мы ее не можем швырнуть на площадь в руки толпы. Ни разум, ни сознание долга этого не позволяют... Это не жажда власти, а только сознание долга... Если это уже не власть, то это всё еще полномочия верховной власти, данные народом, и возвращены они могут быть только народу.

Те, кто теперь нас покинул, потом станут нашими обвинителями и скажут: «вы не смели отречься от того, что было не вашим правом, а вашей обязанностью!».

Значит... Значит — происходит какая-то политическая сим-волика.

Уступить мы можем только насилию, но соотношение военных сил, а главное, общественно-политическое поведение всех тех революционных организаций, которые в своей совокупности могут (как это они и делали в течение всей революции) решить авторитетно и для нас обязательно вопрос об организации верховной власти, — таково, что мы предоставлены самим себе. Совершенно изолированные фактически и в то же время наделенные всею полнотою власти юридически, мы сами должны уметь найти какой-то такой момент, в котором сполна и с непрекращаемой наглядной убедительностью будет очевидно, что мы уступили только неодолимому насилию и не перешагнули за ту черту, за которой сопротивление будет казаться только стремлением к власти, кровопролитием бесцельным, как не поддержанным ни авторитетом народной воли, ни очевидным перевесом вооруженной силы. В последнем случае жестокая и кровопролитная решимость за свой страх была бы

оправдана победой, ибо победителя на войне и в политике не судят победитель сам становится законодателем и судьей.

Перевеса в вооруженной силе не было. Один член альтернативы отсутствовал.

Авторитета отданного нам приказа от имени народа не было: нам словесно сочувствовали и от нас деятельно отрекались. Другого члена альтернативы не было.

Нас предоставили нашей собственной судьбе. Мы сами должны были найти ту демаркационную черту, до которой должны были двигаться и которую не смели перешагнуть, — чтобы охранить достоинство носителей народных полномочий и не обратиться в авантюристов, которым безразлична проливаемая бесцельно народная кровь...

К нам придут и спросят: что нам делать?

Нужно будет дать короткий командный приказ.

Он прост, когда идет настоящая борьба, а не разыгрывается политическая символика. Прост, сколько бы ни было вооруженной силы, как бы ни была она слаба. Он прост, и он один: биться до последнего человека, до последней капли крови! А это значит — выходить сейчас из состояния выжидательной обороны, потому что защищаться можно только нападая...

И если бы мы знали, что поднялись заводы, что на защиту своих революционных завоеваний, своего правительства вышло на улицы население столицы, что революционные организации кликнули клич и от болтовни перешли к делу защиты государственного порядка, то пусть всё это даже было бы обречено на неудачу, пусть! — просты, ясны и коротки были бы приказы, охваченные одним порывом, одной решимостью: биться до последнего человека, до последней капли крови!..

К нам придут и спросят: что нам делать? Что мы скажем?..

А там, на другой стороне, там нет колебаний, там всё просто. Там давно уже вся политическая мудрость, вся «революционность» отлилась в форму разрушительных военных приказов, коротких и абсолютных.

В этот момент этим наступающим воинам надо противопоставить своих воинов, повинующихся таким же коротким командным приказам. Борьба пойдет во имя разных идеологий и практических целей, но всё это должно быть за пределами военной борьбы в этот момент и ни в какой степени в борьбу вводиться не должно. Мотивированный военный приказ есть отрицание приказа даже и тогда, когда ему не предшествует митинг и голосование. А в последнем случае это всегда военное поражение...

К нам придут и спросят: что нам делать? Что мы скажем?

И к нам пришли и спросили...

Кажется, это было в седьмом часу вечера, потому что в семь часов приблизительно пришел из Главного штаба Н. М. Кишкин, а это было без него.

Нам доложили, что юнкера желают видеть членов Временного правительства. Они хотят видеть в лицо тех, кого защищают, и услышать от Временного правительства, каково общее положение и какая задача на них возлагается. Их не удовлетворяло посредничество. Охраной дворца, повидимому, заведовал Пальчинский,

по поручению от Кишкина. Но их не удовлетворяла беседа с ним. Желание было выражено в форме очень настойчивой.

Несмотря на трагическую неопределенность нашего положения, которая и отразилась на настроении нашей охраны и вызвало это обращение к нам юнкеров, мы хотели, по возможности, избежать чего бы то ни было, похожего на митинг, и потому, не сговариваясь, сразу решили, что лучше будет, если мы не пойдем к юнкерам, а к нам придут несколько человек их представителей. Конечно, и это не устраняло возможности митинга. Самое обращение к нам уже указывало, что среди юнкеров возникло колебание и митинг может быть уже начался или сейчас начнется. Но, в таком случае, всё-таки лучше будет, если мы не будем его участниками: в том положении, общественно-политическом, которое создалось, пусть лучше они сами без нас установят свое отношение к моменту и решают вопросы своего поведения.

На наше предложение прислать представителей нам ответили, что юнкера уже собрались и настаивают, чтобы члены правительства вышли к ним в полном составе и сказали им, чего от них хотят. Отказать было абсолютно невозможно. Мы вышли.

Юнкера, в числе, может быть, ста, может быть, больше человек, собрались в том зале-коридоре, о котором я уже упоминал.

Опять, не тратя времени на разговоры, мы все единогласно решили то, что сложилось окончательно в каждом из нас порознь. Нам было очевидно, на основании всего того, что я уже сказал выше, что мы не можем отдать никакого короткого командного приказа.

Мы не могли отдать приказ биться до последнего человека и до последней капли крови, потому что, может быть, мы уже защищаем только самих себя. В таком случае кровопролитие будет не только безрезультатным по непосредственным последствиям, т. е. непременно закончится поражением и безжалостным уничтожением наших защитников, но и политически бессмысленным.

Но мы не могли отдать и другой приказ — сдаться, потому что не знали, наступил ли тот момент, когда сдача неизбежна и будет производить несомненное впечатление, что правительство уступило насилию, выразившемуся реально и действительно неодолимо, и во имя приостановления ненужного кровопролития, а не ради личного спасения, — что оно не сбежало со своего поста, не вышвырнуло с легким сердцем свои полномочия, не отказалось от возложенных на него народом обязанностей.

Какой же военный приказ могли мы отдать? Никакого.

Солдату на войне можно отдать только один из двух приказов — сражаться или сдаваться.

Сражаясь, можно и отступать и наступать; сдаваясь, необходимо принимать все меры, чтобы сдача была почетная и происходила в наиболее благоприятной обстановке. Но конечная задача может быть только одна из двух: борьба до конца или сдача.

И солдат должен точно знать, что он должен делать, должен получить короткий командный приказ, должен быть спокоен и решителен.

А мы могли сказать только одно, что мы не можем отдать никакого военного приказа. Мы могли только указать на то, что мы считаем своей обязанностью, — могли указать на нашу решимость уступить только насилию, чем бы лично для нас это ни

кончилось. Таким образом, мы предоставляли свободному решению наших защитников связать судьбу свою с нашей судьбой или предоставить нас своей собственной участи...

Обратиться с разъяснениями к юнкерам было поручено заместителю министра-председателя Коновалову, министру исповеданий Карташеву, министру земледелия Маслоу и мне. Решено было ограничиться короткими обращениями и затем удалиться.

Начал Коновалов, и все мы сказали, хотя и по-разному, но одно и то же.

Мы — представители единственной народом установленной законной власти — свои полномочия можем сдать только тому, кто нам их дал — народу, т. е. Учредительному собранию; Учредительное собрание созывается через три недели — ждать недолго; оно только может решить судьбы народные; те, кто идет на Временное правительство, идут против народа. Они, юнкера, не только солдаты, но и граждане. Пусть решают, на чьей стороне должны они быть. Мы не себя лично защищаем, мы защищаем права всего народа и уступим только насилию...

Итак, солдаты во время военных действий вместо приказа получили... тему для митинга... И митинг открылся, когда мы ушли...

К концу речи последнего оратора из Главного штаба пришел Кишкин.

— Я получил ультиматум от Военно-революционного комитета. Пойдем обсудим, — сказал он.

К этому времени мы уже покинули помещения, выходившие на Неву, и перешли в один из внутренних покоев Зимнего дворца. Кто-то сказал, что это бывший кабинет Николая II. Не знаю, так ли это. Кто-то сказал, что занимал это помещение после революции генерал Левицкий. Тоже не знаю — верно ли.

Вход в это помещение был из залы-коридора через комнату, значительно меньшую.

Рядом с кабинетом была другая комната, без выхода. В ней был телефон.

И кабинет и смежная комната были больших размеров. В очень больших частных квартирах, в особняках, таких размеров бывают только залы.

Окнами кабинет выходил в один из дворов.

— Раз мы решили здесь остаться, — сказал адмирал Вердеревский, когда начало темнеть, — надо перейти в какое-нибудь внутреннее помещение. Здесь мы под обстрелом.

Мы и перешли сюда. Посредине комнаты стоял большой круглый стол. Мы расположились вокруг него.

Кишкин огласил ультиматум. В нем было заявлено требование сдаться в течение двадцати минут, — иначе, по прошествии этого срока, будет открыт огонь с «Авроры» и Петропавловской крепости.

— Прошло уже более получаса, как я получил эту бумажку, — сказал Кишкин.

Беседа была очень коротка.

Было решено ничего не отвечать на этот ультиматум. Может быть, это простая угроза. Может быть, даже она указывает на их бессилие... У нас так мало защитников и настроение большинства из них таково, что и без артиллерийских орудий взять нас нетрудно... А что если переменилось настроение? И мы уступим словесной угрозе тогда, когда успех их еще не обеспечен, а может

быть, и не будет достигнут? Предположение мало вероятное, но момент во всяком случае для сдачи еще не наступил.

Парламентер, доставивший ультиматум, был отпущен с объявлением, что никакого ответа не будет.

Кишкин собрался идти в Главный штаб, но было доложено, что штаб занят большевиками. Занят совсем, просто: никакого сражения не было... Я вспомнил свой приезд утром в штаб... Настроение складывалось определенное...

Стрелка часов перешла за восемь часов...

Мы загасили верхний свет. Только на письменном столе у окна светила электрическая настольная лампа, загороженная газетным листом от окна. В комнате был полусвет... Тишина... Короткие, негромкие фразы коротких бесед...

Смежная комната без выхода была в темноте. Телефон стоял там на столе у самого выхода из комнаты, в которой мы находились. Он единственный работал до двух часов ночи — до самого нашего ареста.

В комнате, ведущей в коридор, помещался караул.

В течение дня изредка раздавались одиночные выстрелы.

Теперь они начали слышаться чаще, — в одиночку и по нескольку сразу.

Нам докладывали, что наша стража, охранявшая дворец, только отвечала на выстрелы или стреляла, когда на дворец надвигались большевики... Стреляли в воздух. И этого пока оказывалось достаточно: толпа отступала.

— Только бы додержаться до утра, а там нас выручат! — сказал кто-то — Придут войска с Керенским!

Не было живого ожидания утра, в войска, которые «придут», верилось плохо... Время медленно проползло от утра через день к вечеру и медленно подползло к ночи в настороженной тишине, окруженной тревожными шумами...

Раздался пушечный выстрел. Один, потом сейчас же другой...

— Мы или в нас? — спросил я адмирала Вердеревского, который прогуливался по комнате, засунув, как всегда, руки в карманы брюк.

— Мы, — ответил он.

— Куда? и зачем?

Он передернул плечами и ничего не ответил сначала.

— Вероятно, в воздух, — ответил, подумав, — для острстки.

Вошел Пальчинский и доложил: толпа напирала и с площади и с набережной, даны выстрелы из пушки в воздух, толпа отхлынула... Стрелка часов переползла за девять...

Кто сидел, кто лежал, некоторые ходили, беззвучно ступая по мягкому ковру во всю комнату.

Терещенко курил одну папиросу за другой и, то ускоряя, то замедляя шаги, быстро ходил то в одном, то в другом направлении, и лицо его постоянно меняло выражение, а глаза то потухали, то вспыхивали. О чем-то сосредоточенно думал, или воспоминания непрерывной чередой проходили в голове и меняли выражение лица.

Я прилег на полукруглом диване, положив пальто под голову, а рядом полулежал в кресле, положив ноги на мягкий стул, генерал Маниковский.

Из соседней комнаты от времени до времени слышался разговор по телефону. Разговаривали Кишкин, Вердеревский, Маслов, Ливеровский и другие.

Пальчинский то входил, то выходил, делая те или иные незначительные сообщения. Всегда бодрый, всегда заканчивая свои сообщения уверенностью, что до утра мы продержимся.

Никитин ушел в кабинет министра-председателя и оттуда разговаривал по телефону.

Доложили, что генерал Духонин сообщил, что к утру придут самокатчики и казаки. Не помню, сколько...

Ружейные и пулеметные выстрелы стали учащаться. Изредка слышались пушечные...

Раздался звук, хотя и заглушенный, но ясно отличавшийся от всех других.

— Это что? — спросил кто-то.

— Это с «Авроры», — ответил Вердеревский. Лицо у него осталось таким же спокойным.

Минут двадцать спустя вошел Пальчинский и принес стакан от разорвавшегося снаряда, который залетел, пробив стену, в Зимний дворец.

Вердеревский осмотрел его и, поставив на стол, сказал:

— С «Авроры».

Стакан был поврежден в такой форме, что мог служить пепельницей.

— Пепельница на стол нашим преемникам, — сказал кто-то...

Нам доложили, что Городская дума от лица всех партий посылает депутатов на «Аврору», чтобы уговорить команду не стрелять, и кроме того, гласные разных партий в большом числе, человек 300, пойдут к нам. Впереди будет идти Прокопович с двумя фонарями. Надо предупредить стражу, чтобы они были допущены во дворец.

Кто это сообщил — не помню.

Дали знать охране...

Вошел Пальчинский, доложил: казаки желают побеседовать с Временным правительством, пришли два офицера, один из них командир.

Просили войти.

Вошел казачий полковник, кажется. С ним еще офицер.

Спрашивают, чего хочет Временное правительство.

Говорили Кишкин и Коновалов. Мы стояли вокруг. Изредка то тот, то другой вставлял свое слово.

Говорили то же, что юнкерам.

Полковник слушал, то поднимая, то опуская голову. Задал несколько вопросов. К концу поднял голову. Из учтивости дослушал.

Ничего не сказал. Вдохнул, и оба ушли, — ушли, мне казалось, с недоумением в глазах... А может быть, с готовым решением...

Вошел Пальчинский, доложил: казаки покинули дворец, ушли, говорят — не знают, что им тут делать.

Ну, что же!!! Ушли так ушли! Мы уже ничему не удивлялись. И настроение наше от этого не переменялось...

Была тишина, теперь опять началась стрельба...

Вдруг где-то в самом дворце возник какой-то тревожный шум, одиночные выстрелы, — и опять всё смолкло.

Вошел Пальчинский. Оказывается, во дворец ворвалось человек 30—40 большевиков с ружьями и револьверами. Все обезоружены и арестованы. Отдали оружие без сопротивления. «Большие трусы»...

Опять у нас тихо. Перебрасываемся отдельными словами...

Входит Пальчинский: юнкера Михайловского училища ушли и увезли четыре пушки... Наши защитники редуют...

Опять тревожный шум во дворце, но ближе, чем первый. Голоса, крики, топот ног, следом выстрел, опять какой-то сложный шум и — тишина. А за стенами дворца ружейные выстрелы, — звучат заглушенно, но четко.

Кто лежал или сидел — вскочили.

— Что такое?

— Бомбы.

Топот ног у двери, Раскрылась, — ввели к нам двух юнкеров. По лицам течет кровь.

Кишкин подал медицинскую помощь.

Отвели в смежную комнату. Ранены легко...

Оказывается, во дворец забрались несколько матросов и с верхней галереи в зале-коридоре сбросили две бомбы. Бомбы плохонькие. Матросы арестованы. При аресте отняты у них еще две бомбы, которые они не успели сбросить. Их держали в руках Пальчинский и Рутенберг.

Их осмотрели Маниковский и Вердеревский.

— Эти не плохие, — сказал Маниковский, — и обе заряжены.

Бомбы уложили в соседней комнате.

Опять тихо. Опять мы разбрелись по насиженным местам...

Стрельба снаружи — это уже не в счет: это — аккомпанемент к тишине...

Кто-то вошел и доложил: женский батальон ушел, сказали: «Наше место на позициях, на войне; не для этого дела мы на службу пошли»...

Первое радостное сообщение за весь день...

Опять шум во дворце, отдаленный... Замер...

Пальчинский доложил, что охрана приняла толпу большевиков за ту депутацию, которая должна прийти из думы, и впустила ее во дворец. Когда ошибка была обнаружена, большевики были немедленно обезоружены. Они подчинились этому без сопротивления. У некоторых при обезоружении оказалось, кроме винтовок, по два, а иногда и по три револьвера.

— Сколько же их?

— Человек сто...

Зимний дворец наполнялся, но не нашими защитниками...

И какая охрана; вооруженных людей принимают за депутацию из думы!.. Странно!..

— Необыкновенные трусы, — закончил рассказ Пальчинский, — напасть не осмелятся. Продержимся до утра!..

Да, конечно, трусы. Ну, а где ж те — умные, храбрые, стойкие, которые должны охранять свое правительство... Они... Они... «изолируют» большевиков... Это — мысль-ощущение в дремоте... Я задремал...

Вошел кто-то. Кажется, начальник нашего караула. Доложил, что юнкера — не то павловские, не то владимирские — ушли.

Приняли к сведению равнодушно... Защитников у нас становится всё меньше и меньше...

По телефону разные люди, от разных учреждений передавали нам сочувствие и «советовали»... продержаться до утра...

Подробностей рассказывать не буду — теперь еще не время для опубликования воспоминаний полностью...

Стрелка приближалась к двенадцати часам ночи.

Нам доложили, что часть юнкеров Ораниенбаумской школы прапорщиков ушла...

Сколько же осталось у нас — Временного правительства Российской республики — военной силы?! Не всё ли равно?! Чем меньше, тем, пожалуй, лучше в нашем положении, когда на победу нет никакой надежды. можно избежать бесцельного кровопролития и легче определить тот момент, когда можно сдаться, уступая очевидному перевесу в силе, без кровавых жертв...

Часу в первом ночи, может быть позже, мы получили известие, что процессия из думы вышла. Дали знать караулу...

Опять шум... Он стал уже привычным... Опять, вероятно, ворвались большевики и, конечно, опять обезоружены...

Вошел Пальчинский. Конечно, это так и оказалось. И опять дали себя обезоружить без сопротивления. И опять их было много...

А сколько их уже во дворце?.. Кто фактически занимает дворец теперь — мы или большевики?..

Около двух часов меня вызвали к телефону. Один из личных друзей.

— Ну, как вы там? — спросил он в заключение короткого разговора.

— Ничего, бодры.

Вернулся к своему месту, улегся на диване... Опять тишина, даже выстрелов не слышно...

И вдруг возник шум где-то и сразу стал расти, шириться и приближаться. И в его разнообразных, но слитых в одну волну звуках сразу зазвучало что-то особенное, не похожее на те прежние шумы, — что-то окончательное. Стало вдруг сразу ясно, что это идет конец...

Кто лежал или сидел, вскочили и все схватились за пальто...

А шум всё крепнул, всё нарастал и быстро, широкой волной подкатывался к нам... И к нам от него вкатилась и охватила нас нестерпимая тревога, как волна отравленного воздуха...

Всё это в несколько минут...

Уже у входной двери в комнату нашего караула — резкие, взволнованные крики массы голосов, несколько отдельных редких выстрелов, топот ног, какие-то стуки, передвижения, слитый нарастающий единый хаос звуков и всё растущая тревога...

Ясно это уже приступ, нас берут приступом... Защита бесполезна — бесцельны жертвы...

Дверь распахнулась... Вскочил юнкер. Вытянулся во фронт, руку под козырек, лицо взволнованное, но решительное:

— Как прикажете, Временное правительство! Защищаться до последнего человека? Мы готовы, если прикажет Временное правительство.

— Этого не надо! Это бесцельно! Это же ясно! Не надо крови! Надо сдаваться! — закричали мы все, не сговариваясь, а только

переглядываясь и встречая друг у друга одно и то же чувство и решение в глазах.

Вперед вышел Кишкин.

— Если они уже здесь, то, значит, дворец уже занят...

— Занят. Заняты все входы. Все сдались. Охраняется только это помещение. Как прикажет Временное правительство?..

— Скажите, что мы не хотим кровопролития, что мы уступаем силе, что мы сдаемся, — сказал Кишкин.

А там у двери тревога всё нарастала, и стало страшно, что кровь полетит, что мы можем не успеть предупредить это... И мы все тревожно кричали:

— Идите скорей! Идите и скажите это! Мы не хотим крови! Мы сдаемся!..

Юнкер вышел... Вся сцена длилась, я думаю, не больше минуты.

Стало слышно: волна звуков сразу упала.

Очевидно, это юнкер передал наше заявление.

Потом шум опять поднялся, но он иначе звучал.

От сердца отхлынула тревога...

— Оставьте пальто! Сядем за стол, — сказал кто-то, кажется,

Кишкин. Сели. Я оказался рядом с Коноваловым.

Я оглядел всех, все лица помню. Все лица были утомлены и странно спокойны...

Шум у нашей двери. Она распахнулась — и в комнату влетел как щепка, вброшенная к нам волной, маленький человечек под напором толпы, которая за ним влилась в комнату и, как вода, разлилась сразу по всем углам и заполнила комнату.

Человечек был в распахнутом пальто, в широкой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, на рыжеватых длинных волосах. В очках. С короткими подстриженными рыжими усиками и небольшой бородкой. Короткая верхняя губа подымалась к носу, когда он говорил. Бесцветные глаза, утомленное лицо...

Почему-то его манишка и воротник особенно привлекли мое внимание и запомнились. Крахмальный, двойной, очень высокий воротник подпирал ему подбородок. Мягкая грудь рубашки вместе с длинным галстуком лезла кверху из жилета к воротнику. И воротник, и рубашка, и манжеты, и руки были у человека очень грязны.

Человечек влетел и закричал резким назойливым голосом.

Мы сидели за столом. Стража уже окружила нас кольцом.

— Временное правительство здесь, — сказал Коновалов, продолжая сидеть. — Что вам угодно?

— Объявляю вам, всем вам, членам Временного правительства, что вы арестованы. Я представитель Военно-революционного комитета Антонов.

— Члены Временного правительства подчиняются насилию и сдаются, чтобы избежать кровопролития, — сказал Коновалов.

— Чтобы избежать кровопролития! А сами сколько крови пролили! — раздался голос из толпы за кольцом стражи. И следом сочувствующие возгласы с разных сторон.

— А сколько нашего народа побито из ружей да пулеметов!..

Это была явная выдумка.

— Это неправда! — энергично крикнул Кишкин. — Неправда!

Мы никого не расстреливали. Наша охрана только отстреливалась, когда на нее производили нападения и стреляли.

Вмешался Антонов:

— Довольно, товарищи! Перестаньте! Всё это потом разберется... Теперь надо составить протокол. Я сейчас буду писать протокол. Буду всех опрашивать... Только вот сначала... Предлагаю сдать всё имеющееся у вас оружие.

Военные сдали оружие, остальные заявили, что сружия у них нет.

— Обыскать, обыскать, надо!

— Товарищи, прошу соблюдать тишину. Обыскивать не надо!.. — Обращаясь к нам: — Я вам верю на слово...

Антонов приступил к опросу.

Мы все стали надевать пальто и шляпы.

У Кишкина не оказалось ни пальто, ни шляпы: куда-то исчезли.

Комната была полным полно народа. Солдаты, матросы, красногвардейцы. Все вооруженные. Некоторые вооружены в высшей степени: винтовка, два револьвера, шашка, две пулеметные ленты.

Около Антонова стоял высокий молодой человек в военной солдатской форме цвета хаки. Потом оказалось — Чудновский.

Опросив всех, Антонов стал писать протокол, как потом оказалось, черновой. Кажется, ему помогал Чудновский...

А у нас начались разговоры и со стражей и с другими напоявными комнату солдатами и матросами.

На многих лицах выражение взволнованности и враждебности схлынуло: они стали спокойными, некоторые даже приветливыми.

— А вы кто будете? — слышу рядом спрашивают Карташева. Отвечает. Начинается беседа.

Оборачиваясь к ним. Карташев сидит на стуле, откинувшись назад, смотрит глубокими и ласковыми глазами на своих двух собеседников и что-то говорит. А собеседники его, оба матросы, опираясь на винтовки, нагнулись к нему и слушали внимательно. И лица у них человеческие.

— А вы кто будете? — обращается ко мне высокий матрос. Лицо у него спокойное и приятное.

Сказал... Стал расспрашивать. Отвечаю... Стал задавать общие вопросы. Говорил ему о предполагавшемся на днях отъезде двух членов Временного правительства на конференцию для решения вопроса о мире, об Учредительном собрании... Слушает внимательно. В глазах недоумение и боязнь поверить...

На диване сидит Терещенко и, по обыкновению, усиленно курит и беседует тоже. О чем — не слышу.

На лице у Гвоздева застыло выражение обиды, как у человека, который только-что получил незаслуженное оскорбление.

— Какую же я кровушку пил, когда я сам — простой рабочий, — говорил он обиженным голосом, — вот видите, билет. Вот возьмите, читайте: член Совета Рабочих и Солдатских Депутатов... Сиживал при самодержавии сколько — за рабочих. Какой же я буржуй!

На него посматривают с недоумением, иные с сочувствием, и у всех в глазах боязнь поверить...

Их начальство им сказала: арестовать членов Временного

правительства, потому что они — буржуи. Этот, может, врет что-нибудь. Похоже на правду, а может и врет. Там видно будет: начальство разберет!..

В комнате стоит гул.

Когда при опросе выясняется, что Керенского нет, раздается отвратительная брань. Слышатся отдельные провокационные выкрики:

— И эти убегут! Чего тут протокол писать!.. Приколоть и протокола не надо!..

— Переколоть их тут всех сукиных детей!.. — Дальше следовала многоэтажная нецензурная брань. — Чего с ними возиться! Попили нашей крови! — закричал какой-то низкорослый матрос и стукнул по полу винтовкой — хорошо помню — без штыка. И огляделся вокруг. Это было почти призывом. Он вызвал сочувственные отклики.

— Какого чёрта, товарищи! Приколоть их тут и вся недолга!.. Антонов поднял голову и резко закричал:

— Товарищи, вести себя спокойно! Все члены Временного правительства арестованы. Они будут заключены в Петропавловскую крепость. Никакого насилия над ними учинить я не позволю. Ведите себя спокойно!

— Я да я! Что такое «я» да «я»!.. Какое ты тут начальство!.. — вдруг налетел на Антонова стоящий около него молчаливо солдат с плоским равнодушным лицом, на котором внезапно загорелись в узких глазах два злобных огонька.

— Молчать! Прошу молчать! Я здесь представитель от Военно-революционного комитета! Мне вручена власть! Товарищи, уважайте самих себя! Соблюдайте порядок! Теперь власть в ваших руках, вы должны соблюдать порядок!.. Я вас, товарищ, прошу помолчать и мне не мешать! — закончил он, обращаясь к солдату.

Стража обрушилась на солдата.

— Ты что тут!.. Помолчи! Он — выборный! Надо, чтобы порядок был!

— Порядок, порядок! — замолкая, бормотал солдат.

Протокол затягивался, возбуждение начинало возникать и могло прорваться сразу, неожиданно и неудержимо...

Наконец протокол кончен.

Антонов начинает его оглашать. Идет перечень фамилий всех арестованных. Просит отзываться.

Кроме 15 членов Временного правительства, Пальчинского и Рутенберга, с нами еще оказались генерал по особым поручениям при Верховном главнокомандующем Борисов и офицер — не то прапорщик, не то подпоручик — Чистяков. Первый из этих двух провел с нами всё время с вечера, часов с семи-восьми, второго я увидел только в этот момент в нашей комнате. Кажется, он был одним из адъютантов Керенского.

Прочтя последнюю фамилию, спрашивает:

— Все?

— Меня пропустили. — заявляет Терещенко. Называет себя.

— Благодарю вас. Запишу вас последним — девятнадцатым. Все формальности кончены.

Чудновский назначается комендантом Зимнего дворца.

Комната, в которой мы арестованы, будет опечатана, чтобы сейчас не производить в ней обыска.

— Ну, как же теперь мы их доставим в крепость? Товарищи, автомобили есть? — обращается Антонов.

— Нет автомобилей! — отвечает кто-то угрюмо и враждебно-решительным голосом.

— Чего там автомобили!.. Пускай пешком прогуляются!

— Ишь какие баре! Пускай походят — довольно покатались!

— Чего там! Пешком их гнать — и всё тут! Прогуляются!..

— Товарищи, я прошу молчать, — опять закричал Антонов, — тут распоряжаюсь я!

Он на минутку задумался и сказал потом:

— Ну, хорошо, мы их доставим пешком.

Он отдал распоряжение образовать цепь. Один впереди. За ним арестованный и два стражника с ним по бокам. Опять стражник и опять за ним арестованный с двумя стражниками по бокам и т. д.

Пропуская через дверь, опять произвели перекличку.

Наконец, тронулись в путь.

Когда вошли в залу-коридор, на всем протяжении ее стояли по обеим стенам солдаты и матросы.

Нас встретили бранью и торжествующими возгласами:

— И откуда вы их, чертей, вытащили?!

— Ишь, запрятались! — Следовала, как водится, многоэтажная брань.

— А Керенского нет?! Вот чёрт, сбежал! Показали бы мы ему! — Опять изощренная брань.

Нас быстро вели через залу. Толпа вооруженных дикарей в солдатских шинелях и матросских куртках по обеим сторонам зала провожала нас неумолчно возгласами злорадства и дикой бранью.

Перегородка оказалась убранной. Лазарет был, очевидно, спешно куда-то перемещен. На полу в полном беспорядке были разбросаны матрацы...

Как мы сходили с лестницы, совсем не помню...

Вышли на двор. Темно. Потом глаза стали привыкать.

Двор, очевидно, тоже был заполнен солдатами. Мы вступили в толпу. Стража просила посторониться, пропустить... Опять слышались вопросы:

— Что это Временное правительство ведут?

И опять площадная ругань, в особенности по адресу Керенского.

На дворе мы немножко замешкались. В темноте и в толпе был нарушен, очевидно, порядок процессии. Стража перекликалась. Опрашивали друг друга, все ли арестованные налицо.

— Куда же их ведете, товарищи?

— В Петропавловскую крепость!

— Убегут ведь! Слышали, Керенский ведь убежал! И эти убегут! Переколоть их, товарищи, — и делу конец!

Предложения дружно подхватывались в толпе и делались всё короче и всё решительнее.

Стража успокаивала толпу и сама волновалась.

Со мной рядом справа шел матрос небольшого роста, корена-

стый, с приветливым лицом...

Весь двор был усеян, очевидно, разбросанными поленьями дров, потому что они постоянно попадались под ноги и мешали правильному передвижению: арестованные и стража постоянно разъединялись и искали друг друга.

— Позвольте мне взять вас за кушак, — обратился я к матросу, — так мы не отстанем друг от друга.

— Берите, — сказал он приветливо.

Нас выводили на площадь.

Мы попали сначала в узкий проход между большими поленищами дров.

Для того чтобы построить всех нас в порядок, надо было выйти на открытое место. Повидимому, каждая часть процессии избрала свой способ для этого, потому что, когда мы вышли на площадь, за поленищами, против Миллионной улицы не все арестованные и стражники оказались налицо и подтягивались с разных сторон.

Цепь в том месте, где находился я, перелезла через полуразобранную поленищу. Другая часть, видимо, двинулась вперед по проходу.

— Давайте я вам помогу, — услышал я неожиданно от матроса.

— Спасибо, не надо. Полезайте, я не отстану. А потом опять возьму вас за кушак...

— Берите.

Перелезли. Здесь, очевидно, новая толпа. Опять те же вопросы, те же ответы и те же приветствия...

— Ну, товарищи, стой! Все ли на месте? Пересчитайте арестованных! — крикнул кто-то.

Начался беспорядочный счет в разных концах. В разных местах выкликали фамилии.

— Двенадцать.

— Как двенадцать?! Девятнадцать должно быть!

— Не двенадцать: пятерых же только нет — четырнадцать!

— Уже пять удрали! Вот черти! И куда их вести, зачем вести?! Пятеро убежало, все убегут! Братцы, переколоть их здесь!

— Товарищи, тише, перестаньте, — успокаивала стража. — Никуда они не убегут! Куда бежать? Сейчас всех соберем!

Стали перекликаться. Опять стали называть арестованных по фамилиям. Мы отвечали «здесь».

Толпа волновалась. Погромное настроение росло. Стража — и матросы и красногвардейцы — уговаривали и успокаивали, иногда покрикивали...

— И откуда вы их выцарапали?! Куда они там забрались?!

— Они ловки! — объяснял кто-то. — Забрались себе — не сразу сыщешь. Нас расстреливают, а они себе попивают коньячок!

— С бабами, поди!

— Будет вам, товарищи! Что зря болтать? Никакого коньяку не было!..

— Ну, что, все налицо?

— Все, кажется, все... Вот еще подошли!.. Это кто? Ливеровский? Ну теперь все. Девятнадцать!

— Это кто, кто Ливеровский?

— Министр путей сообщения.
 — Который?
 — А вот.
 — Эх, хоть разок ударить!
 Прежде чем Ливеровский успел войти в цепь, тяжелая солдатская рука опустилась ему на затылок. Он вскочил к нам, едва удержавшись на ногах, и прошел впереди меня.
 — Товарищ, будет! Этого нельзя! Видите арестованы люди! Нельзя безобразничать. Это некультурно.
 Так запомнилось мне это слово. И реплика на него:
 — Куль-тур-но! А они что же?! Культурно это — война до полной победы? А ты посиди в окопах. Вот тогда и говори — до полной победы!
 Говоривший это солдат вплотную почти приблизил лицо к матросу, стоявшему от меня влево. От него сильно разило вином. Лицо толстое, упитанное. Непохоже было, что он в окопах его нажил. Вернее, защищал революционные завоевания в Петрограде...
 — Ну, готово! Все на местах? Идем, товарищи!
 — Двигайся! — крикнул кто-то.
 Мы тронулись.
 И вдруг в этот момент раздался треск пулемета.
 — Стой, стой! погоди! Подожди! Стой! Стреляют!
 — Ишь черти, пулеметы расставили! Братцы, переколоть их, чего там! Довольно уж нашей кровушки попили!
 — Товарищи, тише, успокойся. Всё оружие нами захвачено и все юнкера сдались и арестованы! Никаких пулеметов у них нет! Около меня вдруг оказался Гвоздев. На лице его так и осталось выражение недоумения и обиды.
 — Кровушки попили!.. Чью мы кровь пили?! — опять заволновался он. — Я, например, простой рабочий, от станка. Член Совета Рабочих и Солдатских Депутатов...
 Толпу успокоили. Двинулись. Наконец-то!..
 Сразу пошли большим шагом.
 Это хорошо; при быстрой ходьбе и толпа будет реже, и настроение перестанет сосредотачиваться — разрядится.
 Сознание отметило это спокойно, холодно и расчетливо.
 По Миллионной мы пошли еще скорее. Толпа солдат с винтовками продолжала нас сопровождать. И, действительно, стала реже и как будто спокойнее, хотя ругательства и глумления не прекращались. Больше всего возмущения вызывала фраза: «Война до победного конца». Ее переворачивали со всех концов и на все лады. И в связи с нею изощрялись в самых невероятных ругательствах, главным образом, при этом по адресу Керенского.
 Мы быстро шли молча. Стража тоже молчала.
 Свернули налево в последний переулок по Миллионной улице, выводящий на набережную к Троицкому мосту.
 У моста нас встретила новая толпа и, тоже слившись с толпой, нас сопровождала, двинулась с нами.
 И вдруг сразу стало ясно, что настроение толпы определяется и сейчас определится окончательно и что мы держимся на волоске. И не столько потому, что призывы становились всё настойчивее и всё требовательнее, и всё дружнее подхватывались толпой, которая уже напирала на тонкую цепь стражи — уже затрудняя

движение — уже протягивались к нам руки, — сколько по той нерешительности, неуверенности, а моментами, и всё чаще, по тому испугу, какими звучали голоса наших конвоиров.

— В воду их, в воду! Переколоть и в воду!

— Чего там в крепость! Оторвать головы и в воду!

И всё в таком роде. Не разрозненными голосами, а всё дружной. А в ответ звучали дрогнувшие голоса конвоя, иногда уже совсем робкие и просительные. И это еще подымало настроение: толпа чутко улавливает, когда ее начинают бояться.

Еще один момент, какое-нибудь решительное движение со стороны кого-нибудь из толпы — и стража будет отброшена.

Сознание отмечало это отчетливо, холодно и спокойно. Чувствовалось странно, но не было страшно... Страшно было потом, когда перед глазами в памяти проходили все сцены этой ночи... Именно «странно»: отчетливое ясное сознание, обостренная настроенная наблюдательность, полное понимание положения и грозящей опасности — и полное отсутствие реального ощущения этой опасности, полное отсутствие страха, не от того, что найден или отыскивается какой-то выход, а от какой-то окаменелости: душа замерла, заолодела и ничего не чувствует...

Стража взволнована, ответы ее уже не робкие даже, а испуганные... Толпа становится смелее... Стража увеличивает шаг... Мы идем всё быстрее и быстрее... Уже почти на середине моста... Ускоренное движение уже не помогает, уже, кажется, даже раздражает... Еще один момент — стража будет отброшена... И вдруг!..

Откуда-то начался обстрел нас из пулеметов.

Стража и вся толпа бросились на землю. Мы тоже. Начались крики:

— Товарищи! Товарищи! Перестаньте! Свои!

Началась стрельба из крепости.

— С ума сошли — из крепости стреляют! — крикнул кто-то из конвоя.

Долго кричали:

— Перестаньте, свои!..

Наконец стрельба прекратилась.

Оказалось, на мост вскочил с другой стороны броневи́к и почему-то открыл по нашей толпе пальбу.

Эта чудесная случайность спасла нас.

Солдаты бросились к броневика, и началась взаимная ругань... От нас внимание было отвлечено.

Мы быстро перешли Троицкий мост и приближались к крепостному мосту...

Здесь нас встретила небольшая толпа солдат и сравнительно спокойная.

— Временное правительство?

— Да.

— А Керенский здесь?

— Нет, не было его там.

Начали честить Керенского.

Нас провели в ворота, во дворе ввели в помещение революционного клуба крепостного гарнизона.

Когда мы вошли в длинное узкое помещение с рядом окон по

левой от входа стороне, я услышал, как будто что-то свалилось справа со стены, шлепнуло об пол и потом раздался хруст стекла, которое раздавливается сапогами.

Потом я узнал, что это портрет Керенского в раме под стеклом был сброшен со стены на пол и растоптан ногами.

По стене с окнами стояли простые садовые скамейки, одна за другой, всего по одной в ряд: настолько узка была комната.

В глубине низкой комнаты был устроен невысокий помост и на нем небольшой стол. На столе небольшая керосиновая лампа. За столом уже сидел «товарищ» Антонов, когда в комнату вошла та группа, в которой находился я.

Мы разместились на скамьях, стража вдоль скамей справа.

На первой, помню, сидели: Никитин, Маниковский и Терещенко. Я — на третьей или на четвертой. На скамье передо мною сидел Третьяков. Почему-то особенно запомнилось мне, что его лицо было очень утомлено и под глазами залегли темные круги.

«Товарищ» Антонов принялся за составление протокола. Мы были предоставлены сами себе.

Начались беседы с нашими конвоирами.

Кроме них, в комнате находились, повидимому, и солдаты из гарнизона крепости, а может быть, проник кто-нибудь из той солдатской толпы, которая нас сопровождала...

Беседа шла очень спокойная.

И как всегда, стало ясно, что это, конечно, дикари, которые легко обращаются в зверей, но, по общему правилу, — и наивные дети в то же время... Ведь и дети наши — тоже дикари, и очень жестокие.

Во время писания «товарища» Антонова какой-то солдат, подойдя сзади к нему, нагнулся к уху и что-то шептал.

Антонов поднял голову и сказал ему отрывисто, почти что выкрикнул:

— Нет, не надо задерживать! Отпустить! Снять погоны и отпустить!.. Подождите, товарищ!..

И потом, обращаясь ко всем:

— Вот в чем дело, товарищи, слушайте! Арестованы в Зимнем дворце три юнкера. Они просидели всё время в нашем броневике и никакого участия не принимали. Испугались и просидели. Это наши товарищи подтверждали. Они тут. Так я распорядился отпустить их. Снять с них погоны и отпустить.

— Чего же их отпускать! Судить бы надо! — послышался голос.

— Что вы, товарищ?! За что тут судить?! Мы должны быть великодушны! Не надо мстить! Пускай идут!.. Отпустить их!..

— Пускай идут! — раздались голоса.

— Снять погоны и пускай идут. А там видно будет потом, что с ними делать, — прибавил Антонов — может быть, на фронт пошлем.

— Вот так так! — протянул Терещенко. — Война, значит, продолжаться будет?

На лице у него появилось дурашливое выражение. Стало оно совсем как у студента-первокурсника. Глаза засветились насмешливым задорным огоньком. Раздул ноздри, затянулся папироской и выпустил струйку дыма.

— Сразу же ее не прикончишь? Нельзя же просто кинуть фронт! — сказал высокий, стоявший около меня матрос.

— Так за что же нас посадили? Мы то же самое думали! — возразил Терещенко. Всё лицо у него смеялось.

Пошла беседа на эту тему. Слушали внимательно и с недоумением.

А в глазах то же, что читалось всегда и было характерно: нечего возразить, хочется поверить и бояться — страшно, а вдруг обманывает! Где тут думать да решать? Свое начальство здесь! Как оно скажет!

— А вы кто будете?

Говорю.

Начинает расспрашивать подробно, но неумело, потому что ясно не понимает, что такое суд, обвинитель, защитник и прочее. Помогаю.

Замолкает. И то же выражение лица.

Вдруг высовывается лицо какого-то солдата, широкое, тупое, с злым взглядом. Оно уже много раз мелькало передо мною и всегда произносило злым голосом злые слова.

— А нас, большевиков, нешто защищали?! — выпалил он внешне со злостью.

— Вы, теперешние большевики, еще не судились, — ответил я.

— У, черти! — неожиданно заорал он. — Сейчас всех их здесь судить и переколоть!

— Ты чего? С ума сошел! — заметил с удивлением и недоумением матрос.

Солдат отвернулся.

— Ну, протокол кончен, — провозгласил Антонов, — сейчас оглашу.

Беседа замолкает.

Но Антонов, вместо оглашения протокола, снимает шляпу, кладет на стол, вынимает из бокового кармана длинный узкий гребешок, зажимает его между большим и указательным пальцем в правой руке и, не спеша, принимается за туалет. Он сначала начесывает волосы на лицо, которое под длинными волнами исчезает, потом проводит гребешком с помощью левой руки пробор справа и причесывается по пробору справа налево, аккуратно закладывая волосы за уши... Кончил. Положил гребешок в карман. Взял бумагу в руки.

— Прошу выслушать и откликаться тех, чьи фамилии я буду называть.

Доходит до моей фамилии.

Откликаюсь:

— Здесь!

Антонов останавливается. Кладет бумагу на стол. На нее правую руку всей ладонью. И говорит замедленно и раздельно:

— Гражданин Малянтович, вы не узнаете меня?

— Нет, не узнаю.

— Я — Антон Гук.

— Всё-таки не узнаю.

— Когда мне приходилось спасаться от царской полиции, вы как-то дали мне у себя приют на ночь.

— Может быть. Всё-таки не узнаю.

— Жили вы тогда в Москве на Пречистенском бульваре.

— Жил там, но вас не помню. Но может быть. Я вам дал приют, а вы меня арестовали. В жизни всяко бывает.

Завязалась беседа и по этому поводу на короткое время, пока «товарищ» Антонов, он же Антон Гук, он же, кажется, Овсенко, напоминал о себе Никитину. Их беседы я не расслышал.

Сему господину почему-то было приятно напоминать тому, кого он арестовал, о том, что когда-то этот арестованный им выручил его из беды...

Странные люди бывают на свете!.. Своего цинизма Антонов, конечно, не заметил.

Закончив чтение протокола, Антонов обратился с предложением его подписать.

— Как хотите, конечно. Можете подписывать, можете не подписывать, но я советую подписать.

Он приподнял голову, опять положил правую руку ладонью на протокол и произнес почти мечтательно и опять замедленно, почти по слогам:

— Исторический документ!..

Мы подписали.

Когда я подписывал, слева от меня стоял Никитин, незадолго до меня подписавший протокол.

Никитин вынул из кармана большую телеграмму на трех или четырех листах и сказал, передавая ее Антонову:

— Получил ее вчера. Это об Украинской раде. Теперь это уже ваше дело.

Антонов взял от Никитина телеграмму, положил ее справа, покрыл ладонью правой руки и сказал, очень раздельно и замедленно, произнося каждое слово всё в том же мечтательном тоне и с полуулыбкой, спокойной и снисходительной:

— Не беспокойтесь! Всё устроим! Всё устроим!

На слове «всё» он делал значительное ударение.

На лице у него было какое-то парение. Видимо, душа просилась из тесных оков. Взор был устремлен в даль. Он не мог себя сдерживать.

— Да! — продолжал он в том же тоне, — да! Это будет интересный социальный опыт...

Короткая пауза...

— А Ленин! Если бы вы знали, как он был прекрасен!.. Впервые он сбросил с себя свой желтый парик, и как он говорил! Как он был хорош!

Я с любопытством рассматривал эту курьезную фигурку.

Протокол подписан.

— Камеры готовы?

— Готовы!

— Вы временно будете помещены здесь, в Трубецком бастионе, — заявил Антонов.

В шестом часу утра 26 октября мы были разведены по камерам Трубецкого бастиона.